



Личный архив





Личный архив

КОРНЕЙ

ЧУКОВСКИЙ

ДНЕВНИК. 1901–1921

Москва
Издательство АСТ

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ч-93

Исключительные права на публикацию книги на русском языке
принадлежат ООО «Издательство АСТ».
Любое использование материала данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается.

Составление, подготовка текста и комментарии —
Елена Цезаревна Чуковская

*Издательство благодарит наследников К.И. Чуковского
за предоставленные фотографии.*

Чуковский К. И.

Ч-93 Дневник. 1901–1921 / К. И. Чуковский. — Москва : Изда-
тельство АСТ, 2018. — 656 + [16 вкл.] с. : ил. — (Личный
архив).

ISBN 978-5-17-983007-8

Впервые отрывки из дневника Корнея Ивановича Чуковского были опу-
бликованы в 1990 году сначала в «Огоньке», затем в «Новом мире». И уже
в 2000-е годы впервые выходит полный текст «Дневника», составленный и под-
готовленный Еленой Цезаревной Чуковской, внучкой писателя. «Я убеждена,
что время должно запечатлеть себя в слове. Таким как есть, со всеми подроб-
ностями, даже если это кому-то не нравится», – признавалась в интервью Елена
Чуковская. «Дневник» Чуковского — поразительный документ «писателя с глу-
боким и горьким опытом, остро чувствующим всю сложность соотношений»,
это достоверная историческая и литературная летопись эпохи, охватывающая
почти 70 лет с 1901 по 1969 год XX столетия.

В эту книгу включены записи 1901–1921 годов с подробным историко-лите-
ратурным комментарием, хронографом жизни К.И. Чуковского и аннотирован-
ным именованным указателем.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-983007-8

© Д. Д. Чуковский, 2017

© Оформление, ООО «Издательство АСТ», 2018

ДНЕВНИК К. И. Чуковского

Трудно представить себе, что дневник пишут, думая, что его никто никогда не прочтет. Автор может рассчитывать, что кто-нибудь когда-нибудь разделит его горести и надежды, осудит несправедливость судьбы или оценит счастье удачи. Дневник для себя — это — в конечном счете — все-таки дневник для других.

Я знал Корнея Ивановича Чуковского, любил и ценил его, восхищался его разносторонним дарованием, был от души благодарен ему за то, что он с вниманием относился к моей работе. Более того. Он помогал мне советами и поддержкой. Знакомство, правда, долго было поверхностным и углубилось, лишь когда после войны я поселился в Переделкине и стал его соседом.

Могу ли я сказать, что, прочитав его дневник, я встретился с человеком, которого я впервые увидел в 1920 году, когда я был студентом? Нет. Передо мной возникла личность бесконечно более сложная. Переломанная юность. Поразительная воля. Беспрецедентное стремление к заранее намеченной цели. Искусство жить в сложнейших обстоятельствах, в удушающей общественной атмосфере. Вот каким предстал передо мною этот человек, подобного которому я не встречал в моей долгой жизни. И любая из этих черт обладала удивительной способностью превращения, маскировки, умением меняться, оставаясь самой собой.

Он — не Корней Чуковский. Он Николай Корнейчуков, сын человека, которого он никогда не знал и который никогда не интересовался его существованием. Вот что он пишет о своей юности в дневнике:

«... А в документах страшные слова: сын крестьянки, девицы такой-то. Я этих документов до того боялся, что сам никогда их не чи-

тал. Страшно было увидеть глазами эти слова. Помню, каким позорным клеймом, издевательством показался мне аттестат Маруси-сестры, лучшей ученицы нашей епархиальной школы, в этом аттестате написано: дочь крестьянки Мария (без отчества) Корнейчукова — оказала отличные успехи. Я и сейчас помню, что это отсутствие отчества сделало ту строчку, где вписывается имя и звание ученицы, короче, чем ей полагалось, чем было у других, — и это пронзило меня стыдом. “Мы — не как все люди, мы хуже, мы самые низкие” — и, когда дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, я только краснел, мялся, лгал, путал. У меня ведь никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Эта тогдашняя ложь, эта путаница — и есть источник всех моих фальшей и лжей дальнейшего периода. Теперь, когда мне попадает любое мое письмо к кому бы то ни было, — я вижу: это письмо незаконнорожденного, “байструка”. Все мои письма (за исключением некоторых писем к жене), все письма ко всем — фальшивы, фальцетны, неискренни — именно от этого. Раздребезжилась моя “честность с собою” еще в молодости. Особенно мучительно было мне в 16–17 лет, когда молодых людей начинают вместо простого имени называть именем-отчеством. Помню, как клоунски я просил всех даже при первом знакомстве — уже усатый — “зовите меня просто Колей”, “а я Коля” и т. д. Это казалось шутовством, но это была боль. И отсюда завелась привычка мешать боль, шутовство и ложь — никогда не показывать людям себя — отсюда, отсюда пошло все остальное. Это я понял только теперь».

Что же представляют собой эти дневники, которые будущий К. Чуковский вел всю жизнь, начиная с 13 лет? Это не воспоминания. Горькие признания, подобные приведенному выше, почти не встречаются в этих записях, то небрежно кратких, то подробных, когда Чуковский встречался с поразившим его явлением или человеком. Корней Иванович написал две мемуарно-художественные книги, в которых рассказал об И. Е. Репине, В. Г. Короленко, Л. Н. Андрееве, А. Н. Толстом, А. И. Куприне, А. М. Горьком, В. Я. Брюсове, В. В. Маяковском. В дневнике часто встречаются эти — и множество других — имен, но это не воспоминания, а встречи. И каждая встреча написана по живым следам, каждая сохранила свежесть впечатления. Может быть, именно это слово больше всего подходит к жанру книги, если вообще осмелиться воспользоваться этим термином по отношению к дневнику Корнея Ивановича, который бесконечно далек от любого жанра. Читаешь его, и перед глазами встает

беспокойная, беспорядочная, необычайно плодотворная жизнь нашей литературы первой трети двадцатого века. Характерно, что она оживает как бы сама по себе, без того общественного фона, который трагически изменился к концу двадцатых годов. Но, может быть, тем и ценнее (я бы даже сказал — бесценнее) этот дневник, что он состоит из бесчисленного множества фактов, которые говорят сами за себя. Эти факты — вспомним Герцена — борьба лица с государством. Революция широко распахнула ворота свободной инициативе в развитии культуры, открытости мнений, но распахнула ненадолго, лишь на несколько лет.

Примеров бесчисленное множество, но я приведу лишь один. Еще в 1912 году граф Зубов отдал свой дворец на Исаакиевской площади организованному им Институту искусств. После революции по его инициативе были созданы курсы искусствоведения, и вся организация в целом (которой руководили и из которой вышли ученые мирового значения) процветала до 1929 года. «Лицо», отражая бесчисленные атаки всяких РАППов и ЛАППов, «боролось против государства» самим фактом своего существования. Но долго ли могла сопротивляться воскрешенная революцией мысль против набиравшей силу «черни», которую заклеил в предсмертной пушкинской речи Блок.

Дневник пестрит упоминаниями об отчаянной борьбе с цензурой, которая время от времени запрещала — трудно поверить — «Крокодила», «Муху-Цокотуху», и теперь только в страшном сне могут присниться доводы, по которым ошалевшие от самовластия чиновники их запрещали. «Запретили в “Мойдодыре” слова “Боже, Боже” — ездил объясняться в цензуре». Таких примеров — сотни. Это продолжалось долго, годами. Уже давно Корней Иванович был признан классиком детской литературы, уже давно его сказки украшали жизнь миллионов и миллионов детей, уже давно иные «афоризмы» стали пословицами, вошли в разговорный язык, а преследование продолжалось. Когда — уже в сороковых годах — был написан «Бибигон», его немедленно запретили, и Корней Иванович попросил меня поехать к некой Мишаковой, первому секретарю ЦК комсомола, и румяная девица (или дама), способная, кажется, только танцевать с платочком в каком-нибудь провинциальном ансамбле, благосклонно выслушала нас — и не разрешила.

Впрочем, запрещались не только сказки. Выбрасывались целые страницы из статей и книг.

Всю жизнь он работал, не пропускал ни одного дня. Первооткрыватель новой детской литературы, оригинальный поэт, создатель учения о дет-

ском языке, критик, обладавший тонким, «безусловным» вкусом, он был живым воплощением развивающейся литературы. Он оценивал каждый день: что сделано? Мало, мало! Он писал: «О, какой труд — ничего не делать». И в его долгой жизни светлым видением встает не молодость, а старость. Ему всегда мешали. Не только цензура. «Страшно чувствую свою неприкаянность. Я — без гнезда, без друзей, без своих и чужих. Вначале эта позиция казалась мне победной, а сейчас она означает только сиротство и тоску. В журналах и газетах — везде меня бранят, как чужого. И мне не больно, что бранят, а больно, что чужой».

Бессонница преследует его с детства. «Пишу два раза в неделю, остальное съедает бессонница». Кто не знает пушкинских стихов о бессоннице:

Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу.

Этот смысл годами пытался найти Чуковский.

«В неспянье ужасно то, что остаешься в собственном обществе дольше, чем тебе это надо. Страшно надоедаешь себе — и отсюда тяга к смерти: задушить этого постылого собеседника, затуманить, погасить. Страшно жаждешь погашения этого я. У меня этой ночью дошло до отчаяния. Неужели я так-таки никогда не кончусь? Ложишься на подушку, задремываешь, но не до конца, еще бы какой-то кусочек — и ты был бы весь в бессознательном, но именно маленького кусочка и не хватает. Обостряется наблюдательность: “сплю я или не сплю? засну или не засну?”, шпионишь за вот этим маленьким кусочком, и именно из-за этого шпионства не спишь совсем. Сегодня дошло до того, что я бил себя кулаком по черепу! Бил до синяков — дурацкий череп, переменить бы — о! о! о!..»

Легко рассказать об этой книге, как о портретной галерее. Читатель встретит в ней портреты Горького, Блока, Сологуба, Замятина, А. Толстого, Репина, Маяковского — я не перечислил и пятой части портретов. Одни выписаны подробно — Репин, Горький, — другие бегло. Но и те, и другие с безошибочной меткостью. И эта меткость — не визуальная, хотя внешность, походка, манера говорить, манера держаться — ничего не упущено в любом оживающем перед вами портрете. Это — меткость психологическая, таинственно связанная с оценкой положения в литературном кругу. Впрочем, почему таинственная?

Чуковский умел соединять свой абсолютный литературный вкус с умением взглянуть на весь литературный круг одним взглядом — и за этим соединением вставал психологический портрет любого художника или писателя, тесно связанный с его жизненной задачей.

Но все это лишь один, и, в сущности, поверхностный, взгляд, который возможен, чтобы представить читателю эту книгу. Сложнее и результативнее другой. Не портреты, сколько бы они ни поражали своей свежестью и новизной, интересны и характерны для этого дневника. Все они представляют лишь фрагменты портрета самого автора — его надежд, его «болеи и обид», его на первый взгляд счастливой, а на деле трагической жизни.

Я уже упоминал, что ему мешали. Это сказано приблизительно, бледно, неточно. Евгений Шварц написал о нем осуждающую статью «Белый волк» — Чуковский рано поседел. Но для того, чтобы действовать в литературе, и надо было стать волком. Но что-то я не слышал, чтобы волки плакали. А Корней Иванович часто плачет — и наедине, и на людях. Что-то я не слышал, чтобы волки бросались на помощь беспомощным больным старушкам или делились последней пятеркой с голодающим литератором. И чтобы волки постоянно о ком-то заботились, кому-то помогали.

Уезжая из Кисловодска, он записывает: «...Тоска. Здоровья не поправил. Отбился от работы. Потерял последние остатки самоуважения и воли. Мне пятьдесят лет, а мысли мои мелки и ничтожны. Горе (смерть маленькой дочки Мурочки. — В. К.) не возвысило меня, а еще сильнее измельчило. Я неудачник, банкрот. После 30 лет каторжной литературной работы — я без гроша денег, без имени, “начинающий автор”. Не сплю от тоски. Вчера был на детской площадке — единственный радостный момент моей кисловодской жизни. Ребята радушны, доверчивы, обнимали меня, тормошили, представляли мне шарады, дарили мне цветы, а мне все казалось, что они принимают меня за кого-то другого». Последняя фраза знаменательна. Чувство двойственности сопровождало его всю жизнь. Он находит его не только у себя, но и у других. Недаром из многочисленных разговоров с Горьким он выделяет его ошеломляющее признание: «Я ведь и в самом деле часто бываю двойствен. Никогда прежде я не лукавил, а теперь с новой властью приходится лукавить, лгать, притворяться. Я знаю, что иначе нельзя».

Проходит немного лет, и эту вынужденную двойственность он находит в поведении и в произведениях Михаила Слонимского: «Вчера

был у меня Слонимский. Его “Средний проспект” разрешен. Но рассказывает страшные вещи». Слонимский рассказал о том, как цензура задержала, а потом разрешила «Записки поэта» Сельвинского и книгу Грабаря. «В конце концов задерживают не так уж и много, но сколько изматывают нервов, пока выпустят. А задерживают немного, потому что мы все так развратились, так “приспособились”, что уже не способны написать что-нибудь неказенное, искреннее. Я, — говорил Миша, — сейчас пишу одну вещь — нецензурную, которая так и пролежит в столе, а другую для печати — преплохую». На других страницах своих записок Корней Иванович рассказывает о множестве других бессмысленных решений ужесточающейся с каждым годом цензуры.

Но дальше этого профессионального недовольства одним из институтов Советской власти он не идет. И даже этот разговор кончается сентенцией, рассчитанной на то, что ее прочтут чужие глаза: «Поговорив на эти темы, мы все же решили, что мы советские писатели, так как мы легко можем представить себе такой советский строй, где никаких этих тягот нет, и даже больше: мы уверены, что именно при советском строе удастся их преодолеть».

Только страх мог продиктовать в тридцатых годах такую верно-подданническую фразу. Она объясняет многое. Она объясняет, например, тот поразительный факт, что в дневнике, который писался для себя (и, кажется, только для себя), нет ни одного упоминания об арестах, о процессах, о неслыханных насилиях, которым подвергалась страна. Кажется, что все интересы Корнея Ивановича ограничивались только литературными делами. В этом есть известное достоинство: перед нами возникает огромный, сложный, противоречивый мир, в котором действуют многочисленные развивающиеся, сталкивающиеся таланты. Но общественный фон, на котором они действуют, отсутствует. Литература — зеркало общества. Десятилетиями она была в Советском Союзе кривым зеркалом, а о том, что сделало ее кривым зеркалом, упоминать было не просто опасно, но смертельно опасно. Невозможно предположить, что Корней Иванович, с его пронизательностью, с его талантом мгновенно «постигать» собеседника, с его фантастической преданностью делу литературы, не интересовало то, что происходило за пределами ее существования. Без сомнения, это была притворная слепота, вынужденная террором.

И кто знает, может быть, не так часто терзала бы его бессонница, если бы он не боялся увидеть во сне то, что окружало его наяву.

Я не надеюсь, что мне удалось рассказать об этой книге так, чтобы читатель мог оценить ее уникальность. Но, заранее сознавая в своей неудаче, я считаю своим долгом хоть кратко перечислить то, что ему предстоит узнать.

Он увидит Репина, в котором великий художник соединялся с суетливым, мелко честолюбивым и, в сущности, незначительным человеком. Он увидит Бродского, который торговал портретами Ленина, подписывая своим именем холсты своих учеников. Он увидит трагическую фигуру Блока, написанную с поражающей силой, точностью и любовью, — история символизма заполнена теперь новыми неизвестными фактами, спор между символистами и акмеистами представлен «весомо и зримо».

Он познакомится с малоизвестным периодом жизни Горького в начале двадцатых годов, когда большевиков он называл «они», когда казалось, что его беспримерная по светлomu разуму и поражающей энергии деятельность направлена против «них».

Меткий портрет Кони сменяется не менее метким портретом Ахматовой — все это отнюдь не «одномоментно», а на протяжении лет.

Я знал Тынянова, казалось бы, как самого себя, но даже мне никогда не приходило в голову, что он «поднимает нравственную атмосферу всюду, где он находится».

Я был близким другом Зощенко, но никогда не слышал, чтобы он так много и с такой охотой говорил о себе. Напротив, он всегда казался мне молчаливым.

О Маяковском обычно писали остро, и это естественно: он сам был человеком режущим, острым. Чуковский написал о нем с отцовской любовью.

Ни малейшего пристрастия не чувствуется в его отношении к собственным детям. «Коля — недумаящий эгоист. Лида — врожденная гуманистка».

Не пропускающий ни одной мелочи, беспощадный и беспристрастный взгляд устремлен на фигуры А. Толстого, Айхенвальда, Волошина, Замятина, Гумилева, Мережковского, Лернера. Но самый острый и беспристрастный, без сомнения, — на самого себя. «Диккенсовский герой», «сидящий во мне авантюрист», «мутная жизнь», «я и сам стараюсь понравиться себе, а не публике». О притворстве: «это я умею», «жажда любить себя».

Дневник публикуется с того времени, когда Чуковскому было 19 лет, но, судя по первой странице, он был начат, по-видимому, значительно раньше¹. И тогда же начинается этот суровый самоанализ.

Еще одна черта должна быть отмечена на этих страницах. Я сравнительно поздний современник Чуковского — я только что взял в руки перо, когда он был уже заметным критиком и основателем новой детской поэзии. В огромности тогдашней литературы я был слепым самовлюбленным мальчиком, а он — писателем с глубоким и горьким опытом, остро чувствовавшим всю сложность соотношений. Нигде я не встречал записанных им, поражающих своей неожиданностью, воспоминаний Горького о Толстом. Нигде не встречал таких трогательных, хватающих за сердце строк — панихида по Блоку. Такой тонкой характеристики Ахматовой. Такого меткого, уничтожающего удара по Мережковскому — «бойкий богоносец». Такой бесстрастной и презрительной оценки А. Толстого — впрочем, его далеко опередил в этом отношении Бунин. А Сологуб с его доведенным до культа эгоцентризмом! А П. Е. Щеголев с его цинизмом, перед которым у любого порядочного человека опускались руки!

Еще одно — последнее — замечание. Дневники Чуковского — глубоко поучительная книга. Многие в ней показано в отраженном свете — совесть и страх встают перед нами в неожиданном сочетании. Но, кажется, невозможно быть более тесно, чем она, связанной с историей нашей литературной жизни. Подобные книги в этой истории — не новость. Вспомним Ф. Вигеля, Никитенко. Но в сравнении с записками Чуковского, от которых трудно оторваться, — это вялые, растянутые, интересные только для историков литературы книги. Дневники Корнея Ивановича одиноко и решительно и открыто направляют русскую мемуарную прозу по новому пути.

26/VI.88

В. Каверин

¹ Предисловие В. Каверина было написано для первого, сокращенного, издания Дневника. Оказалось, как это видно из настоящего полного издания, что уцелело и несколько более ранних записей. — Здесь и далее подстрочные примечания и переводы иностранных слов и выражений сделаны составителем. — *Е. Ч.*

ДНЕВНИК

1901—1921

1901

24 февраля, вечер в Субботу (большой буквой). Странно! Не первый год пишу я дневник, привык и к его свободной форме, и к его непринужденному содержанию, легкому, пестрому, капризному, — не одна сотня листов уже исписана мною, но теперь, вновь возобновляя это занятие, я чувствую какую-то робость. Прежде, записывая веденье дневника, я уславливался с собою: он будет глуп, будет легкомыслен, будет сух, он нисколько не отразит меня — моих настроений и дум — пусть! Ничего! Когда перо мое не умело рельефно и кратко схватить туманную мысль мою, которую я через секунду после возникновения не умел понять сам и отражал на бумаге только какие-то общие места, я не особенно пенял на него, и, кроме легкой досады, не испытывал ничего. Но теперь... теперь я уже *заранее* стыжусь каждого своего неуклюжего выражения, каждого сентиментального порыва, лишнего восклицательного знака, стыжусь этой неталантливой небрежности, этой неискренности, которая проявляется в дневнике больше всего, — стыжусь перед нею, перед Машей. Дневника я этого ей не покажу ни за что, — и все же она, которая всюду ходит за мною, которая проникает меня всего насквозь, она, для которой я делаю все это — моя милая, томная, жгучая, неприступная, — она и т. д.

Боже мой, какая риторика! Ну разве можно кому-нибудь показать это? Подумали бы, что я завидую славе Карамзина. Ведь только я один, припомнив свои теперешние настроения, сумею потом, читая это, влить в эту риторику опять кусок своей души, сделать ее опять для себя понят-

ной и близкой, а для другого — я это отлично понимаю [край страницы оторван. — Е. Ч.].

25 февраля 1901. Реликвии. Вот кусочек из моего письма к Сигаревичу (98 или 99 г.): «...хочешь узнать, как я провожу время? — Утром даю уроки, объясняю, что мужеский род имеет преимущество пред женским и что Бог есть Дух, но (!) в 3-х лицах, смотрю на толстые ноги моей ученицы и удивляюсь, как это при таких толстых ногах можно изучать придаточные предложения... Потом завтракаю — почтительно выслушиваю от мамы, что хорошим человеком быть хорошо, а дурным — дурно, что она меня даром кормит и что завтра же пойдет она к директору... Потом читаю, читаю глупо, бессистемно, не дочитывая до конца... В 2 часа обед. За обедом узнаю, что Бог помогает хорошим людям, а скверным не помогает. Съедаю огромное количество слив, яблок и валяюсь на диване. Потом часа в 4 приходит Кац, с ним мы читаем вместе, изучаем историю русской литературы. Узнаем, в каком году родился Некрасов; и кто был отец Тургенева; узнаем, что литература — это зеркало; и узнав все это, идем на житковскую лодку^{*1}, где катаемся почти ежедневно. Берем с собою Розенблост, Вольф, Кац, Зильберман. Они пищат, визжат, трещат и верещат. Возвращаемся поздно. Выслушиваю краткие, но выразительные речи, сплю... Вот и все... Не правда ли, славно?»

А вот одна сохранившаяся страничка из моего прежнего дневника:

27 сентября 1898 г. «Странные вещи бывают на свете! Иду я сегодня вечером и самым наивным образом балакаю с Машей. Она несколько раз обмолвилась, назвала меня Даней, но, в общем, все благополучно... Не дошли мы еще до половины квартала, как из-за угла показались 3 фигуры — 2 гимназиста, а один — этак штатский как будто. Маша мне не сказала ни слова, а только сильно ускорила шаги. Я обернулся — гимназистов нет! Что за черт! Бегу обратно, бегу, т. к. прохладно. Вдруг подбегает ко мне Сеня Гроссман, валит меня на землю, садится на меня верхом, колотит и спрашивает, где я сейчас был... «У Юзи...» — «Врешь, — заорал Сеня, — ты провожал М. ...» — «Да, провожал и объ-

¹ Здесь и далее звездочкой отмечены слова и предложения, комментарии к которым помещены в конце книги.

яснялся ей в любви», — ответил я. «Нет, вы, наверно, философствовали о носовых платках, а впрочем, что ж? У Коли кровь молодая, играет, как вино искрометное», — смеялся Дана...»

Интересно, что этого эпизода я совсем не помню. Помню свое о нем воспоминание, но его самого словно и не бывало.

Кусочек романа, который я писал, когда мне было 15 лет:

«Он не помнил, как это случилось, как это из религиозного мальчика, встававшего в полночь для тайной молитвы [край страницы оторван. — *Е. Ч.*]. А тогда ему было не до смеху, тогда, помнится ему, он подосадовал на нищих, но немного спустя ему пришло в голову, что по христианству осуждать брата, называть его подлецом — грешно, и он тотчас же вычеркнул из своей головы грешные мысли и заставил себя думать, что виноват, собственно, он, а не нищие... Такие зачеркивания происходили довольно часто. Захотелось ему в пост мяса — он сейчас заставляет себя думать: нет, мне мяса не хочется, мне хочется гороху, и так всегда и во всем. А как он зато был счастлив! Даст ли он милостыню, выучит ли уроки, поможет ли калеке перейти улицу, — он уверен, что там, где-то наверху кто-то радуется, что все эти поступки кем-то и куда-то засчитываются и что в конце концов душа его получит воздаяние. И он старался изо всех сил делать как можно больше добрых дел, т. к. себя он любил больше всех, т. к. хотел для своей души как можно лучшее достояние...

А теперь, теперь он с тоской жмется к подушке, стараясь отогнать мысли, которые еще не роятся в его голове, а стоят где-то в стороне, вне его; он чувствует их присутствие в мозгу. Но он еще борется и мучительно старается думать о другом, о том, что сказала ему Лиза, о том, что....»

Ей-богу, ничего себе. Или я, быть может, не умею приложить к этому роману теперешнего критерия, а оставляю прежний? Я почти уверен, что это так. Заставить себя забыть прежнее мнение, забыть прежнего себя.

Дневник — громадная сила, — только он сумеет удержать эти глыбы снега, когда они уже растают, только он оставит нерастаянным этот туман, оставит меня в гимназической шинели, смущенного, радостного, оскорбленного. Вот слушай, дневник, оставь мне навсегда это, — я иду от Ф. ...Половина десятого. Я должен уйти, туда пришла она... Иду и смеюсь... Она, гордая и чужая, требует, чтобы я ушел немедленно, она близка мне, она понимает, сочувствует, любит, она вся во мне... Вот она идет со мною, она знает, как это натягивают шинель и хлюпают калошами по лужам, как это размахивают руками, как это говорят: до свиданья,